



СЧАСТЛИВАЯ

ЖЕНЩИНА

Каждый пишет собственную
историю любви...

Изящный век

Изящный век

Евдокия Ростопчина
Счастливая женщина

«Издательство АСТ»

1853

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Ростопчина Е. П.

Счастливая женщина / Е. П. Ростопчина — «Издательство АСТ»,
1853 — (Изящный век)

ISBN 978-5-17-096787-2

Среди книг, которые уже давно приобрели безоговорочный статус бесценных любовных фолиантов, роман графини Евдокии Ростопчиной «Счастливая женщина», написанный в 1853 году, по праву признан шедевром любовной прозы. Эта история любви накалом безумных страстей и изяществом стиля оставляет читателей в состоянии легкого транса и считается лучшей книгой в копилке мировой романтической литературы. Каждый пишет собственную историю любви – так было в XIX веке, так происходит и сейчас...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-096787-2

© Ростопчина Е. П., 1853
© Издательство АСТ, 1853

Содержание

Евдокия Петровна Ростопчина	6
I. Накануне Нового года	10
II. Кто была она?	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Евдокия Ростопчина

Счастливая женщина

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Евдокия Петровна Ростопчина

(1811–1858)

Евдокия Петровна Ростопчина – русская писательница, графиня, одна из самых известных русских поэтесс второй четверти XIX века. Современники считали ее умницей и красавицей, отмечали живость характера и доброту, общительность. Ей посвящали свои стихи Лермонтов и Тютчев, Мей и Огарев. В конце тридцатых годов девятнадцатого века ее имя ставили даже рядом с именем Пушкина.

Она родилась 23 декабря 1811 года в Москве, на Чистых Прудах, в приходе Успения Богородицы, что на Покровке, в доме деда с материнской стороны Ивана Александровича Пашкова.

Ее отец Петр Васильевич Сушков (впоследствии действительный статский советник), находился в то время на службе в Москве и был чиновником VIII класса и комиссариатским комиссионером. Он женился на Дарье Ивановне Пашковой, дочери отставного подполковника, и Евдокия Петровна была их первым ребенком.

В 1812 году, по случаю приближения французов к Москве, семейство Пашковых и с ними Дарья Ивановна Сушкова с новорожденной дочерью отправились в Симбирскую губернию, в принадлежащую деду И.А. Пашкову деревню Талызино, где прожили до отступления Наполеона из Москвы, после чего возвратились в Белокаменную, куда еще ранее прибыл, по должности своей, Петр Васильевич Сушков, на которого, как значится в его формулярном списке, возложено было в 1812 и 1813 годах «заготовление вещей для резервной армии», что он и исполнил в разоренной Москве, «не возвышая цен ни на какие вещи, несмотря на сожженные в Москве фабрики и заводы».

В январе 1816 года Дарья Ивановна родила сына Сергея, в марте 1817 года – Дмитрия и, ровно через два месяца, 13 мая того же года скончалась от чахотки, имея всего лишь 27 лет от роду. Вскоре П.В. Сушков, по просьбе своего тестя, отправился на принадлежащие тому Белорецкие железные заводы в Оренбургской губернии, где пробыл довольно долго, а оттуда переехал на жительство в Петербург, куда он был переведен на службу. Трое сирот остались в Москве, в доме деда, где жили на собственный счет, пользуясь только даровой квартирой и столом. В этом доме Евдокия Петровна пробыла вплоть до своего замужества, а ее братья только до 1826 года, когда их отец, будучи назначен начальником Оренбургского таможенного округа, увез мальчиков с собою в Оренбург.

Дмитрий Петрович Сушков, брат Ростопчиной, так писал о своей сестре в биографической справке князю П.А. Вяземскому: «...Между тем воспитание Евдокии Петровны шло своим чередом: одна гувернантка сменялась другою и несколько учителей приходили давать ей уроки; но, говоря правду, воспитание это, хотя и стоило немало денег отцу нашему, было довольно безалаберное, так как, в сущности, никто не наблюдал за его правильностию. По счастью, ребенок был одарен от природы живым, острым умом, хорошею памятью и пылким воображением, с помощью которых Евдокия Петровна легко научилась всему тому, что составляло тогда, да и теперь составляет еще, альфу и омегу домашнего воспитания наших великосветских барышень.

Из учителей ее по разным предметам стоит упомянуть о Гаврилове и Раиче, развивших в ней врожденную любовь к поэзии вообще и к отечественной в особенности. Не будь их, русская словесность считала бы, может быть, в среде своей одним дарованием меньше, так как в доме Пашковых никто литературу не занимался и даже подобное занятие со стороны молодой девушки сочтено было бы за неприличный поступок.

Здесь будет уместно перечислить главнейших гувернанток и учителей Евдокии Петровны, насколько я их помню.

Одною из первых ее гувернанток была г-жа Морино, французская эмигрантка из хорошей фамилии, бывшая до революции в интимных отношениях с графом Прованским, впоследствии королем Людовиком XVIII. Само собою разумеется, что, за исключением природного своего языка и современной ей французской литературы, сведения ее по всем другим предметам были чрезвычайно ограничены, так что, в сущности, она ничему другому обучать не могла.

Непосредственно за нею следовала Н.Г. Боголюбова, бывшая смолянка. Это была девица умная, добрая, благовоспитанная и действительно много знающая, от которой воспитанница ее позаимствовала много хорошего и могла бы позаимствовать еще более, но, к сожалению, она почему-то вскоре перешла на другое место.

Преемницей ее была г-жа Пудре, толстая, глупая, грубая и ровно ничего не знающая швейцарка, которой, по-настоящему, следовало бы занимать не должность гувернантки, а разве помойки. Эта подлая женщина обращалась со своей воспитанницей чрезвычайно грубо и даже тиранила ее. Притом же она была и нравственности весьма двусмысленной и, в присутствии Евдокии Петровны и нас, братьев ее, мальчиков семи-восьми лет, обращалась весьма вольно, чтобы не сказать более, с гувернером нашим, г-ном Фроссаром, своим соотечественником, таким же грубым и таким же невеждою, как она сама, а также и с нашим общим учителем рисования, французом Газом. Впоследствии Пудре содержала в Москве девичий пансион.

За Пудре последовала – и это была последняя гувернантка Евдокии Петровны – г-жа Дювернуа, офранцузенная полячка, женщина добрая, но не имевшая никаких познаний, вследствие чего она и не обучала ничему и была в сущности не гувернанткою, а чем-то в роде компаньонки для прогулки и выездов запросто к родным и более близким знакомым».

К счастью, Евдокию Петровну не испортило это бездушное воспитание: в ребенке жила чуткая и нежная душа. Хорошая память, любознательность и влечение к литературе, поддерживавшееся в окружавшей ее среде, которая увлекалась литературными интересами, в связи с поэтическим настроением девушки и врожденной каждой талантливой натуре страстью к творчеству сделали ее писательницей уже в раннем возрасте.

Ростопчина рано пристрастилась к чтению и быстро овладела несколькими иностранными языками, в том числе французским, немецким, английским и итальянским. Скрываясь от родных, с двенадцати лет она стала писать стихи. А читать их давала своим знакомым: студенту Московского университета поэту и революционеру Николаю Огареву и ученику Благородного пансиона Михаилу Лермонтову.

Увлечение поэзией не удалось долго сохранять в тайне: первая публикация ее стихов – в альманахе «Северные цветы на 1831 год» за подписью «Д...а» – произошла, когда девушке не исполнилось и восемнадцати лет.

Евдокия Петровна была очень хороша собою; когда она стала выезжать в свет, ее свежая девическая красота и окружавший ее юную головку ореол зарождавшейся поэтической славы доставили ей ряд головокружительных триумфов. Ее сразу заметили – и несколько лет веселой светской жизни пронесли пред ней быстрым, волшебным видением.

Евдокия Петровна в 22 года, чтобы избавиться от домашнего гнета, вышла замуж за молодого и богатого графа Андрея Федоровича Ростопчина, сына московского градоначальника. Свадьба состоялась в мае 1833 года, и молодые зажили весело и открыто в своем доме на Лубянке, принимая всю Москву.

Муж писательницы оказался человеком очень недалеким, его интересы ограничивались кутежами, картами и лошадьми, и Евдокия, чувствуя себя очень несчастливой в семье, полностью отдалась светской жизни, стала искать развлечений в свете, посещая и устраивая балы. Ростопчина была предметом многих сплетен и злословия. Ее постоянно окружала толпа пылких поклонников, к которым она относилась далеко не жестоко. По словам современников,

Ростопчина «была небольшого роста, изящно сложена, имела неправильные, но выразительные и красивые черты лица. Большие, темные и крайне близорукие её глаза “горели огнём”. Речь Евдокии Петровны, страстная и увлекательная, лилась быстро и плавно». Будучи человеком необычайной доброты, она много помогала бедным.

Осенью 1836 года Ростопчина с мужем приехала в Петербург и поселилась в доме на Дворцовой набережной. Ростопчины были приняты в высшем столичном обществе и литературных салонах города – у Одоевского, Жуковского, в семье Карамзиных. Начитанная, остроумная, интересная собеседница, Евдокия сразу же завела литературный салон и у себя в доме, где стал собираться весь цвет петербургских литераторов. Частыми гостями ее были Гоголь, Пушкин, Жуковский, Соллогуб, Вяземский, Плетнев, Григорович, Дружинин, Мятлев и многие-многие другие. Одоевский и Лермонтов вели с ней активную личную переписку, тот же Владимир Федорович Одоевский посвятил ей свою «Космораму». Еще до замужества Ростопчина познакомилась с Пушкиным. С ним она встретилась в 1829 или 1830 году на бале у московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицына и произвела на него прекрасное впечатление. Он очень благосклонно отзывался о ее творчестве.

В салоне Евдокии Ростопчиной читались новые произведения, обсуждались литературные события, устраивались музыкальные вечера с участием Виардо, Глинки, Листа, Тамбурины, Рубини. Рассеянная светская жизнь, прерываемая частыми и продолжительными путешествиями по России и за границу, не мешала графине с увлечением предаваться литературным занятиям.

К этому времени относится и начало романа Ростопчиной с Андреем Николаевичем Карамзиным, одним из сыновей историка Н.М. Карамзина, гусарским полковником. А.Н. Карамзин был женат на баронессе Еве Авроре Шарлотте Шернваль – светской львице из шведского рода, фрейлине и статс-даме русского императорского двора, крупной благотворительнице. В 1853 году Андрей Карамзин отправился добровольцем на балканский театр военных действий Крымской войны и вскоре погиб в бою во время крайне непрофессионально проведенной кавалерийской атаки, которую сам же организовал и возглавил. В 1854 году, узнав о его гибели, Евдокия Петровна писала: «...цель, для которой писалось, мечталось, думалось и жилось, – эта цель больше не существует; некому теперь разгадывать мои стихи и мою прозу...» Но все это будет позже, а пока она не только одна из самых модных дам Петербурга, но и признанная всеми поэтесса.

Однако Ростопчина чувствует, что жизнь ее, при внешнем блеске, «лишена первого счастья – домашней теплоты», а сердце «вовсе не создано к той жизни, какую принуждена вести теперь», – и оттого любит повторять стих пушкинской Татьяны: «...отдать бы рада всю эту ветошь маскарада...» Стремление разглядеть за холодными, светскими полумасками истинную сущность человека объединяет Ростопчину с Лермонтовым, который в 1841 году записал в ее альбоме: «Я верю: под одной звездой // Мы с вами были рождены, // Мы шли дорогою одною, // Нас обманули те же сны».

В декабре 1849 года Ростопчины переезжают на постоянное жительство в Москву. Зажили они роскошно, богато, хоть и не особенно открыто. Граф по-прежнему увлекался цыганами, тройками, балетом, посещал Английский клуб, графиня жила отдельно от него и на своей половине проводила время по-своему, принимала гостей, изредка выезжала. Писала она теперь уже не мелкие лирические пьесы, а вещи более крупные, а также произведения в прозе, такие как ее самый известный роман о пронзительной, обжигающей смертельной любви «Счастливая женщина». Писала она и небольшие пьесы для театра; последние были легкими, милыми пусячками, приготовленными обыкновенно для чьего-нибудь бенефиса.

От брака с Андреем Фёдоровичем Ростопчиным у Евдокии Петровны было две дочери и сын. Первая дочь Ольга была замужем за дипломатом и итальянским посланником в Румынии графом Иосифом Торниелли-Брузатти-ди-Вергано. Вторая дочь Лидия – писательница,

жила на скромную пенсию, получаемую от императора, последние годы провела в Париже. Сын Виктор – полковник, был женат на Марии Григорьевне фон Рейтлингер, имел двух сыновей – Бориса и Виктора.

Утверждают, что от внебрачной связи с Андреем Карамзиным Евдокия Ростопчина имела еще двух дочерей. Они носили фамилию Андреевские и воспитывались в Швейцарии. Кроме того, у Ростопчиной был внебрачный сын Ипполит от Петра Павловича Альбединского, генерал-адъютанта, не обладавшего ни высшим военным образованием, ни особыми военными достоинствами. Альбединский своей военной карьерой был обязан главным образом красивой внешности и большим связям при дворе.

Последние два года жизни графиня Евдокия Ростопчина часто и сильно болела. В последний раз она взялась за перо в конце августа 1858 года, чтобы написать для Александра Дюма, бывшего тогда в России, свои краткие воспоминания о Лермонтове. Письмо ее Дюма получил на Кавказе, в декабре, когда Ростопчиной уже не было в живых: третьего декабря (пятнадцатого по старому стилю) 1858 года она скончалась в Москве, где и погребена на Пятницком кладбище в усыпальнице Ростопчиных.

I. Накануне Нового года

31 декабря 18.. года, 2 ч. вечера

Еще час, еще одно круговращение быстрой стрелки по недвижному циферблату, еще урочный бой двенадцати ударов – и год будет кончен, и настанет новый... Новый год! Таинственное, заманчивое слово, как оно возбуждает воображение, как оно тревожит любопытство! Как оно вместе и многообильно и богато угрозами! Новый год!

Везде теперь его ждут с каким-то невольным, неразумным нетерпением, везде приготовились его встречать. Всякий, по своему состоянию и средствам своим, хочет провести как можно лучше первые минуты этого дня, начинающего цепь многих других часов, которые, по всеобщему суеверию всех народов и всех веков, как будто зависят от него, как будто существуют в нем как зародыш сокровенной будущности.

Везде, от дворца до хаты, от мраморных палат до утлой землянки, где только живут люди и бьются сердца, все заняты тревожным ожиданием и неразрешимыми догадками... Как будто в эту ночь, вместе связывающую и разделяющую два года, истекший и начинающийся, как будто в эту урочную ночь судьба разыгрывает огромную томболу¹, приглашая на нее всех смертных и вынимая им жеребьи, – кому выигрыш и счастье, кому черный билет и смерть или страданье.

Сколько теперь радости, поздравлений, увеселений в иных домах и сердцах, сколько горя в других! Все те, чьи желания и потребности удовлетворены, чья жизнь не выходила из обыкновенной колеи, все те, кто никого и ничего не потеряли, кто видят близ себя всех своих, все, кто надеются, кто наслаждаются – они сегодня вдвое веселее, вдвое спокойнее, чем в прочие дни. Но зато всем, кто лишился кого или чего-нибудь дорогого, кто скорбит, кто поминает, нуждается, боится, им во сто раз больнее и грустнее, чем в обыкновенную пору.

А между тем время, равнодушное время свершает свое шествие, судьба идет себе своей чередой, и ничем они не возмущаются: ни радостными восклицаниями, ни плачем скорби, и никому, ни ликующим, ни горюющим, не скажут они заветной тайны будущего, ими приготовляемого!

Сколько людей теперь беззаботно встречают этот новый наступающий год, которым не дастся его докончить на земле и которые в течение его улягутся в своих безмолвных гробах. Сколько еще таких, которым суждено хуже – похоронить своих близких или своих милых, – и эти тоже ничего не подозревают... Но есть предчувствия, говорят! Да, предчувствия у слабонервных женщин, у некоторых организмов, да кто же их слушает? Кто им верит? Только некоторые, а вообще предчувствий нет, или человек не умеет их понимать! Зачем предчувствия, когда действительность и существенность так нас опутали, что мы все хотим объяснить и истолковать и все стараемся привести в факты?

Вот и я сама – я прежде верила в предчувствия, но я их в себе стараюсь заглушить, я их боюсь; так как в жизни гораздо более горя, чем радости, более дурного, чем хорошего, то лучше ничего не предугадывать и не предвидеть, из опасения предугадать что-нибудь мучительное и страшное!

Но мне грустно... Никогда не могла я равнодушно и беспечно переживать это обновление годов; оно всегда меня настраивало на особенный лад, наводило на меня и ложные мысли и мрачные мечтания. Оттого-то не люблю я встречать в одиночестве эту минуту нового года,

¹ Томбола – разновидность лотереи.

я бы хотела или уснуть, чтоб не чувствовать ее пришествия, или забыться в каком-нибудь общем увлечении и волнении света, чтобы мне невозможно было заниматься собою, предаваться своим размышлениям.

Оттого-то я всегда стараюсь проводить в шумном обществе вечер тридцать первого декабря... Мне этот вечер и страшен и люб. Он мучит меня как угроза и волнует как обещание.

И сегодня хотела я его провести не так, не здесь дома, в своем уединении, но!.. Сегодня... более, чем когда-нибудь, мне следовало, мне хотелось радоваться и веселиться, но!..

Что-то делается там, у них? Как проходит их чинное семейное собрание, для которого они расстроили все мои планы? Чем и как отличают они от обыкновенных дней этот день исключительный, который они испортили безвратно для меня... и не для меня одной...

А ныне, в первый раз, следовало бы нам вместе встретить Новый год и проводить минувший, который был для нас так многозначителен и так замечателен! И я, и он, мы оба того желали, надеялись; мы готовили себе такое тихое, блаженное уединение вдвоем... все рушилось перед приличием света и требованиями семейных отношений! Боже мой! Для того, кто знает, что под ними кроется, какая ничтожность ими выражается, какие это глупые, напыщенные фразы! Какое громкое заглавие для мелких условных, пустых обычаев, а между тем как все это сильно, чтоб вредить и разъединять!

У них так заведено, они привыкли собирать в этот день всех своих родственников до седьмого колена. У них играют в карты на пяти столах, болтают в трех комнатах, впрочем, как и в обыкновенные дни, они между собой не скажут и слова, не обменяются и взглядом, а все же нужно и требуется, чтобы все были налицо, чтоб все зевали и скучали вместе, не смея отлучиться или опоздать...

Какой эгоизм! Какое домашнее тиранство под видом семейного согласия! А это называется любить и дорожить присутствием!

Мне кажется, если бы я была матерью или сестрою, то хотела бы, чтоб ко мне пришли, чтоб меня отыскиали, но не стала бы требовать, не стала бы взыскивать! Мне кажется, что если бы у меня был сын или брат, я желала бы единственно знать и видеть его счастливым, лелеяла бы его счастье больше своего собственного и, понимая права любви, не противопоставляла бы ей беспрестанно родство и дружбу неумолимыми ее соперниками. Я бы умела мерить все эти чувства, совместные по самому различию своему, а не выводила бы ежедневно на безвыходно мучительную борьбу, где если и нет побежденного, то все ранены и страдают...

Но каждый думает и чувствует по-своему! Людей не выучить снисхождению и не отучить их от взыскательности. Приходится вспоминать, что говаривала мне в мою детскую пору одна умная женщина: «Иной любит, как другой не любит!» Вот и все тут!

А что, если это все с их стороны даже не эгоизм и не излишняя требовательность превеличенного до тиранства чувства семейной привязанности! Если это просто шарлатанство, желание показать свету какое-то редкое согласие, какую-то примерную, единодушную, родственность и семейность? Если сегодняшнее собрание не что иное, как заранее приготовленная картина, где каждый играет свою роль, должен быть на своем положенном месте, как необходимое лицо в какой-нибудь китайской церемонии? Эта мысль, это сомнение уже не раз приходили мне в голову... Боюсь на них остановиться, спешу отвергнуть их как невозможность, как призрак моего расстроенного воображения.

Мне больно теперь, находясь в ежедневном, неприязненном столкновении с этим семейством, дурно ко мне расположенном, но мне стало бы вдвое тяжелее, если б я была уверена в их неискренности между собою и должна бы была видеть его обманутого и ослепленного ложью таких отношений! Нет, лучше удалить от себя это подозрение, от него и грустно, и тошно...

Однако я странно встречаю этот год, который издала обещает мне так много: я расстроена и грустна, уж не предчувствие ли это? А я только что отвергала предчувствия. Нет, хочу развеселиться, хочу заставить просветлеть свои мысли...

Вот полночь, бьет первый удар. Прощай, минувший год, благодарю! Здравствуй, наступивший. Как тебя принять – как друга или недруга? Ах!.. Сердце опять забилося тревожно, пойду помолюсь!..»

II. Кто была она?

Женщина, писавшая эти строки, была в самом деле, как она то сама чувствовала, в раздражительном, странном состоянии, но это состояние души ее зависело от не менее странного положения ее в свете, от обстоятельств, не совсем от нее зависевших.

Марина Ненская, которую везде называли счастливейшею женщиной, в самом деле была или казалась и почиталась одною из любимиц счастья и судьбы, избалованных избранных рока и случая, захотевших показать в ней создание, вполне одаренное для благополучия и для наслаждения всем тем, что только принято считать за благо в жизни.

Она была богата, для иных в этом слове все заключается; потом была по рождению и по замужеству из таких семейств, которые везде могут ожидать почета, по громкой известности и блеску знатного имени. Она была хороша, умна, добра и к тому же свободна; свободна, хотя замужем, потому что совершенное несогласие возрастов, характеров, склонностей и привычек скоро ослабило союз, заключенный с обеих сторон не по сердечному желанию, а по ошибочным соображениям.

Без ссор и неудовольствий, без жалоб и огласки, не допускаемых между людьми известного света и воспитания, прилично и с достоинством, сохраняя все формы взаимного уважения, Марина Ненская и муж ее разъехались, чтоб жить каждый по-своему, напрасно попытавшись связать свои разно направленные жизни.

Муж, человек положительный, успевший насытиться всеми преимуществами и удовольствиями, доставляемыми ему положением и богатством, достигнувший той печальной поры, когда, быв многократно обманут и сердцем и рассудком, не мог даже прибавить к своему утешению, что никогда еще «обманут не был он желудком»², принужденный, по расстроенному здоровью, отказаться даже от своего прославленного роскошного стола и всеми завидуемого повара, муж продал свой дом в столице и отправился в дальние поместья – искать выздоровления в лучшем климате и более умеренной жизни, и притом заниматься улучшениями в своих владениях, устройством заводов и разработкой золотых приисков.

Одним словом, хозяйничать на большую руку, когда хозяину ничего нового не оставалось предпринимать или желать на других стезях и на других поприщах жизни, ему вполне известной и надоевшей.

Марина, напротив, только начинала жить, и молодые силы ее во всем ее окружающем находили цель и предмет. Так как у них не было детей и она не только не чувствовала себя нужною равнодушному и полуокаменевшему мужу, но, напротив, была бы ему решительно в тягость в его новом быту, то общим согласием положено было ей остаться в Петербурге с условием, что года через два или полтора она навестит его, или он сам приедет с нею повидаться.

Это было тем приличнее, что отец Марины занимал важную должность на службе, и дочь, хотя не возвращаясь в родительский дом, оставалась порученною покровительству и присмотру отца.

Сначала Марина, как все женщины очень молодые, вертелась и забавлялась в вихре всех рассеянностей и всех удовольствий шумного света. Потом пустота и суэта этой жизни без цели и без причины, вечно праздничной и вместе с тем вечно будничной в ее тревожном однообразии и однообразном треволнении.

Все это ее утомило, и она стала себя спрашивать, для того ли она на свете и затем ли родилась, чтобы получать и отдавать визиты, примерять и изнашивать прежде всех новомодные наряды и хоронить блестящие балы, встречаясь лицом к лицу с бледной северной зарею,

² Цитата из поэмы Е.А. Баратынского «Пир». У Баратынского: «Бывал обманут сердцем я, // Бывал обманут я рассудком, // Но никогда еще, друзья, // Обманут не был я желудком».

когда она уезжала полусонная и усталая из душных залов, а заря, вставая лениво и как будто неохотно из-под мягкого одеяла сизо-розовых облаков, показывалась ей предвестницей нового дня, ничем не отличенного от вчерашнего, ничем не розного со всеми предыдущими?

Год-другой прошел еще, покуда Марина не умела или просто не хотела разрешить себе этих вопросов. Иногда, не ясные еще, но уже волнующие мысли, чувства, побуждения возникали и проявлялись в этой молодой, пробуждающейся душе, смущая ее своими намеками, своими загадочными вопросами.

Искушение парило уже над ее безмятежною головою и, мало-помалу развертывая перед нею соблазнительную логику своих умствований и наущений, играло в глубине ее мыслей роль змея, соблаздившего Еву. Снова для Евиной правнучки в тысячном поколении свершалось испытанное столь многими дочерьми и внучками общей прародительницы – возобновлялась эта вечная драма женщины, тоскующей, пытливой и праздной, раздумывающей о своей участи и недовольной ею.

Снова женщине надоедало ее безбурное неведение, ее неполное существование, и она начинала волноваться и колебаться, сманиваемая в мир познания всем ее окружающим и всем в ней трепещущим. Дерево добра и зла, пугающее сначала неопытных и понемногу заманивающее их под свою таинственную тень, вдвое привлекательную запрета ради, и манило ее, и притягивало ее издали обаятельными обетами...

И тем опаснее было это обаяние, тем сильнее его навевание, что бедная женщина изнемогла от сердечной усталости одиночества, от жажды и голода, утомивших ее душу в аравийской пустыне ее жизни, ничем и никем не населенной... Все причины женского падения, все ловушки и подкопы светской жизни окружали Марину...

Но она еще противостояла им и сама хранила себя. Это потому, что Марина была выращена в такой сфере, где приличие, гордость и чувство собственного достоинства долго замечают женщинам более строгие правила добродетели, возвышаемой до степени долга, более спасительные уроки чистой, прямой, задушевной, на убеждениях основанной нравственности.

Вообще у светских людей и в светских семействах, воспитывая девушек, только стараются развить их для света, а не для них самих, только хлопочут об одном внешнем усовершенствовании их, придают им тот блестящий и все сглаживающий лоск светскости, который должен выказать их в наилучшем виде. Таланты, осанка, поступь, наружная изящность обращения, заученная наперед стыдливость – вот что у слишком многочисленных родителей почитается главными условиями модной девушки, высоко поставленной в обществе женщины, высшею степенью совершенства и достоинства.

Для этих блестящих качеств мотыльковской природы, для этой раззолоченной пыли, стряхиваемой в глаза людям с легких крыльев великосветской бабочки, слишком часто жертвуется всем внутренним, глубоким, нужным и спасительным.

Где преподают девушке прямую и грустную науку жизни? Где готовят ее к борьбе, к испытанию, к душевному изнеможению, слишком часто ожидающим ее на житейском поприще? Где твердые основы всякого воспитания – учение горьких и глубоких истин жизни, стойкость убеждений и самопожертвование, внушаемое заранее ради веры и христианского самоотречения? Где, наконец, истолкование о долге, об обязанностях, о всех тяжких, но неизбежных тайнах, ожидающих женщину на ее земном пути – и для которых ей нужно бы запастись такою теплою верою, таким сильным чувством строгого долга, таким терпением и такою твердостью?

Нет, этого обыкновенно не имеют в виду в светском воспитании, в развитии дочерей и девушек тех семейств, которые живут и вращаются в мелочах и суетах не общественной, а общепринятой светской жизни! Но зато обычай, тон, приличие, все условное, все принятое имеют между ними силу закона и до известной степени, покуда... до слишком потрясающего столкновения женщины с искушениями и трудностями жизни, заменяют ей все то, что не дало

ей ложно направленное ее воспитание, все то, чего недостает в ее уме, в ее душе для защиты и ограждения ее.

В мирном и великолепном доме своих родителей, окруженных людьми лучшего круга и лучшего образования, Марина с малолетства слышала разговоры, где перебиралось все то, что можно, все то, что не дозволено по светскому уставу и светским понятиям. При ней, десятилетней девочке, рассуждали о личностях того круга, обсуживали их, выхваляя одних, укоряя других. Она знала, какое строгое соблюдение всего принятого требуется от женщины, знала, не понимая вполне их смысла, но пораженная иными словами и речами; она слышала укоры каким-то слабостям, каким-то отступлениям, прославление какой-то непорочности, неприкосновенности и какого-то гордого достоинства, которые представлялись ей ореолом, окружающим даму, всеми превозносимую.

Она приучалась полагать все заслуги и совершенства женщины в исполнении малейших и неуловимейших предписаний учтивости, скромности, этикета и обычая: нельзя, не принято, и проч., и проч... Азиатские народы, эти умные консерваторы, над которыми мы бессознательно и неразумно смеемся, не поняв до сих пор, что они, дошедши – остановились и, достигнув относительной образованности, – врезались в нее, как мозаичные узоры в вечном камне, их предохраняющем.

Китайцы, понимая и зная натуру своих женщин и боясь не уметь обуздать их, вздумали назвать красотой недоразвитие женских ног и придумали целую систему отвратительных мер и жестоких мучений, чтобы умалить, изуродовать эти бедные ноги и тем приковать, вернее и прочнее, чем цепями, целые поколения хромым жен к их домашней, безвыходной, недвижимой жизни. У нас, европейцев, не ноги с детства умалены и стеснены в неумолимых колодках, а умы женщин и понятия их вырабатываются и ограничиваются по известной форме, упрочивающей потом на всю жизнь недвижимость моральную и заключение души в пределах, ей назначенных. Оно вернее.

И подобно тому, как китайцы пеленают пальчики ног у девушек, а черкесы зашивают грудь малолетних дочерей своих в жесткую и узкую кашубу (кожа, которая никогда не снимается, не перешивается и не приспособляется к росту девушек, давит им грудь и мешает плечам развернуться, а лишь в день брака распарывается на них кинжалом мужа), так просвещенные народы употребляют мало-помалу составленный кодекс утеснительных понятий и условий, который и раздается преимущественно женщинам высшего круга и, если он принят и соблюден в точности, приготавливает их как нельзя лучше к искусственной, мелкой, условной жизни, им предназначенной.

И почему бы не так? Ведь растут же цветы в оранжереях и живут птицы в клетках! Конечно, никогда бедное, тощее растение в теплицах и парниках не получит той мощной красоты, той дикой, роскошной свежести, того сильного аромата, которые принадлежат исключительно творениям Создателя и природы, расцветшим свободно и произвольно на родной почве, под небом и воздухом, им свойственным; конечно, никогда бледная канарейка или слепой соловей, вскармливаемые в клетках, для удовольствия хозяев, не поют так весело и громко, не полетят так живо и стремительно, как вольные птички Божии в лесах...

Но те и другие украшают жилища наши, одни наслаждают наш взор своими яркими красками и ласкают обоняние наше своим душистым дыханием – другие тешат наш слух своим пением, забавляют прихоть нашу, чего же больше? А что они достигли или нет своего полного развития, проявления всех своих сил и свойств, данных им матерью природой и неистощимую щедростью Творца, что нам за дело? Не все ли нам равно? И если вместо женщины, твари разумной, одаренной бессмертной, всеобъемлющей душою, любящим сердцем и светлым умом, из тепличек и клеток домашнего воспитания выходит часто безмозглая кукла, способная только наряжаться и отмалчиваться на все вопросы жизни, – что же за беда?

Ведь иногда кукла безвреднее и особенно сподручнее женщины; кукла не имеет ни личного мнения, ни слишком больших требований; кукла везде поместится, не стесняя никого, а женщина, пожалуй, могла бы...

Да что тут долго спрашивать! Многие поймут и оценят все отрицательные достоинства и преимущества куклы пред женщиной! Оттого-то кукле так все и удается в свете и на свете!

Марина была не кукла, и потому ей не все удавалось! Лишившись матери на осьмнадцатом году своем, она осталась скорее заботой, чем отрадой на руках отца, обремененного и без того службой и делами, и была поручена дома надзору гувернантки, а вне дома и при редких девических выездах – покровительству двух теток, из которых одна была двоюродная, стало быть, мало в ней принимала участия, а другая, сама еще прехорошенькая и довольно молодая, занималась гораздо более собою, нежели племянницею.

Утром отец приходил пить чай к дочери, много ее ласкал, расспрашивал о вчерашних выездах и занятиях, о том, что могло ей быть нужно или приятно, исполнял все ее требования и даже прихоти, крестил, целовал (он был очень нежный отец) и уезжал на весь день.

Обедывал он с нею вообще, когда был дома и не имел гостей, но правда, что раз пять в неделю он или был отозван, или сам должен был принимать друзей и сослуживцев своих, а потом нельзя же было и ему не побывать в клубе или в ресторанах, прославленных гастрономическим искусством!

Итак, Марина знала, что у нее есть отец, который ее любит, подобно тому, как каждый из нас мог бы знать, что у него есть своя звезда, хранительница и сопутственница, данная роком, но почти не видела этого отца, как все мы не можем видеть своей звезды.

Марина имела полный досуг, была предоставлена самой себе в эти самые опасные и самые знаменательные годы жизни, где человек знакомится прежде с самим собой, потом со всем, что может привлекать его внимание и породить его участие.

Гувернантка, женщина добрая, тихая, накопляющая последний десяток заранее назначенного ею количества тысяч русских рублей, чтоб разменять их на французские франки и удалиться с ними на покой в свой родимый городок на берегах Луары, – гувернантка очень заботилась о своей питомице, то есть спрашивала, хорошо ли она спала, оделась ли довольно тепло в ненастную погоду, – и только! Да больше от нее, правда, и не требовалось. Марина ведь кончила свое воспитание с учителями, и ей оставалось только ожидать условного возраста и окончания годичного траура, чтоб явиться формально в свете.

Наставница шила и перешивала свои чепцы, считала и пересчитывала свои будущие доходы, по вечерам вязала или делала филе³, но все это в одной комнате с Мариною и не спуская глаз с нее. А Марина думала и мечтала!..

* * *

Лермонтов рассказал нам своими звучными, музыкальными стихами, как Демон воспитывал княжну⁴ в старинном доме и пустом зале ее знатных предков. Смерть, пресекающая скитальческую, неудовлетворенную, тревожную жизнь его, и заодно обаятельную, прелестную сказку для детей, лучшее его произведение в артистическом отношении, эскиз художника, обещающий мастерскую картину, смерть не дала ему докончить рассказ и показать мораль, то есть вывод и заключение такого воспитания.

Но по тому обстоятельству, что его Демон выбрал зеркало в подмогу и способ своего преподавания, можно заключить, что он был дух суетности и тщеславия, питатель женских

³ «Филе» в переводе с французского означает «сетка», это вариант традиционного вязания крючком.

⁴ Имеется в виду «Сказка для детей» (1840), неоконченная поэма Лермонтова.

прихотей и женского самолюбия, и что княжна должна была выйти из его школы отличною кокеткой, посвященной во все таинства науки света и общежития.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.